

Азбука
PREMIUM
РУССКАЯ ПРОЗА

ВЛАДИМИР НАБОКОВ
ПНИН

Перевел с английского
ГЕННАДИЙ БАРАБТАРЛО
При участии
ВЕРЫ НАБОКОВОЙ



Санкт-Петербург

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Coe)-44
Н 14

Vladimir Nabokov
PNIN
Copyright © 1953, 1955, 1957, Vladimir Nabokov
All rights reserved

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

ISBN 978-5-389-13573-4

© Г. Барабтарло, перевод, 2017
© Издание на русском языке,
оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство АЗБУКА®

Предисловие переводчика

Предуведомление к первому русскому изданию этой книги начиналось так: «Прошло пятьдесят лет с тех пор, как «Пнин» вышел первым изданием (Doubleday: Garden City, New York, 1957), и почти двадцать пять, как он появился в русском переводе (Ardis: Ann Arbor, Michigan, 1983), и математическая соразмерность этого двоякого события, равно как и семантическая переключка выходных данных (особенно этот мотив удвоения, а также столиц и усадеб), как будто переплетаются в один из тех цветочных рисунков, которые напоминают узоры непревзойденной набоковской работы. Но в отличие от оригинала, мой перевод вещь скоропортящаяся: тотчас по выходе я обнаружил в нем (и это после десяти, кажется, корректур!) уйму неудачных, несуразных и прямо неверно понятых мест...» Прошедшие с тех пор восемь лет уничтожили числовую соразмерность и обнаружили новые неудачные места, требовавшие выправления. Эта необходимая правка сделалась чем-то вроде необходимой периодической замены приводных ремней и под-

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

тягивания болтов автомобиля каждые столько-то тысяч верст пробега. Еще в самом начале восьмидесятых годов Вера Набокова, которая тщательно редактировала перевод, прислала мне список своих поправок, и я тогда же начал их собирать для маловероятного, как казалось тогда, исправленного издания. Спустя пять лет московский журнал «Иностранная литература» попросил позволения перепечатать издание «Ардиса», не без основания полагая Набокова писателем во всяком случае иностранным, и, напечатав, прибавил от себя огромное количество новых ошибок (особенно частых в словах иностранных). Еще через десять лет этот испорченный текст, уже без спроса, вышел книгой в Харькове (где он оказался в обществе двух незнакомцев), но в то время пиратские суда с причудливыми рострами уж давно бороздили ничейные издательские воды во всех направлениях, и новые переложения «Пнина» стали появляться то тут, то там под разными веселыми флагами. В этих обстоятельствах переиздание старого перевода представилось опекунам наследия Набокова желательным. Юбилей казался удобным для того поводом, а новая серия изданий его книг — наилучшим местом*.

К самому первому, мичиганскому, русскому изданию было приложено послесловие переводчика, где, в частности, объяснялись главные черты этого

* За возможные частичные или даже дословные совпадения с другими напечатанными версиями «Пнина» я никак не могу отвечать, потому что никогда не читал ни одного чужого перевода Набокова (кроме двух-трех страниц «Ады» в двух разных изложениях, по просьбе сына Набокова, для сравнительного анализа).

не совсем обычного, мнимо-двойного перевода, где русская или русифицированная английская речь героя передается как бы из вторых рук. Издание «Азбуки» 2007 года представляло собою совершенно новую редакцию — поверхностной отделке или основательной переделке подвергся весь словесный состав книги. Мне хотелось добиться большей верности средствами не только дискретными, т. е. словарными, как оно было в первом издании, но и совокупными — цельными фразами, передающими смысл чужой речи слогом, свойственным автору на родном его языке. Говорю здесь только об одном из условий поставленной себе и целый год упорно преследовавшейся задачи, а не о ее решении, о чем не могу судить не только из приличия, но и потому, что после стольких помарок, колебаний и новых помарок притупляется способность отличать острое от пресного, холодное от горячего, — притупляется самый вкус. С другой стороны, его остается довольно, чтобы сознавать, что шероховатостей еще много, но, сняв в девятый раз стружку, я объявил ее последней и отнял руку и уж теперь больше ею не проведу из опасения все-таки занозить ее.

Юбилейные соображения сделали предыдущее издание несколько отличным по составу от других в той же серии; так, у него имеется обширное послесловие, сохраненное и в этом новом издании. Для чего оно?

Иное дело писать, иное — сочинять, в начальном значении этого слова. Писателей на свете великое множество, но настоящих сочинителей единицы.

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Набоков возвел искусство соположения составляющих книгу слов, фраз, кусков, глав, тем, пластов, начал и концов на дотоле неведомую и доселе необитаемую высоту. Серьезное чтение его книг таким образом есть искусство того же самого рода, что и сочинение, ибо для настоящего понимания его композиций необходимо после первого чтения еще и еще раз пересекать всю местность романа вдоль и поперек течения местного времени. Это занятие составляет для читателя Набокова высшее наслаждение, и наслаждение это находится в родстве или по крайней мере в свойстве с восторгами самого сочинителя. Дело восхитительно трудное, но опыт учит искать и находить пособия. Например, у любой книги Набокова имеется подробный план местности, снабженный указателями направления преобладающего ветра и высоты над уровнем моря, условными знаками и стрелками и крестиками на месте тайников, но для того, чтобы вычертить хотя бы контурную карту, кладоискателю нужно сначала нанести сигнальные точки, которые требуется потом соединить. Для облегчения этого труда и для лучшей ориентации внутри романа и предлагается истолковательный очерк, напечатанный в виде длинного послесловия. Набоков говорил, что космическое отличается от комического одним свистящим звуком. Но то же можно заметить и в отношении умозрительного и уморительного, так как оба эти нитяных строя составляют, в причудливом и искусном переплете, полотно романа. Эти и другие, более важные антиномии нуждаются в указании и объяснении, без которого эта книга — на вид простая, а на самом деле весьма

сложной повествовательной постройке, — не может быть оценена по достоинству и даже скольконибудь верно понята.

Все те места, которые, по моему рассуждению, могли бы привести в недоумение читателя, не знакомого с американским бытом вообще и академическим в особенности, объясняются в постраничных примечаниях. Я очень хорошо знаю, что примечания вредят повествовательной иллюзии, для которой требуется изоляция от внешнего мира, но пришлось с этим примириться. В конце концов, предисловия и послесловия тоже инородные тела, и они или отторгаются от корпуса романа и пропадают, или приобретают некоторые свойства вымысла, словно хотят быть в свите книги и везде ее сопровождать (у «Лолиты», например, двойной эскорт).

Набоков в каждом предисловии к английским изданиям своих книг считал нужным «послать приветствие венской делегации»; мне же в этом жанре приходится всякий раз касаться вопроса о русском языке. Удивляться ли этому, если вспомнить, что нужно переводить русского писателя непревзойденной силы на язык, который находится в самом жалком состоянии. Профаны полагают, и важно объявляют, словно эта глупость непререкаема, что *язык развивается*. Но то же можно сказать и об опасной болезни. Вопрос в том, можно ли остановить такое развитие, а вовсе не в том, нужно ли пытаться его остановить. В теперешней письменной речи очевидно не только общее стремление к понижению и оскудению средств выражения, как это было раньше на протяжении полувека, но налицо и явная тенденция к испакощению этих средств.

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Теперь не мастера «развивают» язык, а воры — одни тащат из чужих кошельков, другие из чужих наречий, и так обогащается десятилетиями настоянный на сухофрукте советский говор. И в естественных-то условиях за родным языком в письменности нужен глаз да глаз, ухо да ухо, в одной руке Даль, в другой линейка. Но в бывшей России произошло такое искоренительное надругательство над языком, т. е. над людьми его в себе «носившими», что и старые книги, изданные по-новому, не остановили и не могут остановить распространение блатной музыки и ворованного американского товара, определяющих теперь норму речи. Кстати о Дале: у меня имеется объявление о новом советском издании его словаря (каталог Торгового Дома «Россия», 2001), где сказано: «Толковый словарь живого великорусского языка, 4 тт. *Впервые на русском языке*». И это в сущности верно, все дело в том, что этим словом называть: или Даль с его толковым, живым и великорусским, или близь, с ее торговым мертвым домом.

В таких безпримерно неблагоприятных условиях, когда не знаешь, можно ли родной свой язык именовать русским, переводить Набокова есть, конечно, дерзость едва ли позволительная. Мой перевод страдает многими не-исцельными пороками, общими обстоятельствам времени и места, вдобавок к моим собственным. Но все же надеюсь, что благодаря долгим усилиям, благодаря пособию лучшего из возможных сотрудников (у Веры Набоковой было безупречное чувство языка), благодаря, наконец, этой возможности еще раз исправить и улучшить старую работу, русский язык этого

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

«Пнина» лучше больничного рациона из порошкового молока и киселя из порошка, — надеюсь, я хочу сказать, что здесь угадываются другие реки, другие берега.

Вот как Набоков заканчивает одно свое послесловие: «Предлагаемая русская книга относится к английскому тексту как прописные буквы к курсиву, или как относится к стилизованному профилю в упор глядящее лицо: „Позвольте представить-ся, — сказал попутчик мой без улыбки, — моя фамилья N.“». Если заменить курсив на стенограмму, профиль на силуэт, а прописной латинский «нашъ» на «буки» — то получится довольно верный реферат этого труда.

Г. Б.

2 июля 2015 г.

Колумбия, Миссури

ПНИН

РОМАН

*Русский перевод посвящается памяти
Веры Набоковой*

Глава первая

1

У северного окна вагона неумолимо мчавшегося поезда сидел пассажир, у которого не было соседей ни рядом, ни напротив; это был не кто иной как профессор Тимофей Пнин. Совершенно лысый, загорелый и гладко выбритый, он выглядел весьма солидно, если начинать осмотр сверху: большой коричневый купол, черепаховые очки (скрадывавшие младенческое безбровие), несколько обезьянье надгубье, толстая шея и внушительное туловище в тесноватом твидовом пиджаке; но заканчивался он как-то неожиданно парой журавлиных ног (они теперь были одеты во фланелевые штаны и перекинуты одна на другую) с нежными на вид, несколько женскими ступнями.

На нем были неподтянутые носки алой шерсти в лиловых ромбах; его консервативные черные оксфордские башмаки обошлись ему едва ли не дороже всей прочей экипировки (включая и вызывающе цветистый галстук). До сороковых годов, в степенную европейскую пору своей жизни, он всегда носил длинные кальсоны, концы которых заправлял внутрь опрятных шелковых носков в стрелку, скромных оттенков, которые держались подвязками на его обтянутых бумазеей икрах. В те дни

обнаружить полоску этих белых кальсон под слишком высоко вздернутой штаниной показалось бы Пнину столь же неприличным, как, скажем, появиться при дамах без воротничка и галстука, и когда сухонькой мадам Ру, консьержке в скверных номерах в шестнадцатом округе Парижа, где Пнин после побега из ленинизменной России и завершения высшего образования в Праге провел пятнадцать лет, — случалось придти к нему за квартирной платой, когда на нем не было его *faux col**, чопорный Пнин прикрывал запонку на горле целомудренной рукою. Все это переменялось в пьянящем воздухе Нового Света. Теперь, в свои пятьдесят два года, он был помешан на солнечных ваннах, носил спортивные рубашки и штаны и, закидывая ногу на ногу, прилежно, нарочито, дерзко выставлял напоказ чуть не половину обнаженной голени. Таким его мог бы увидеть попутчик; но ежели не считать солдата, сидевшего в одном конце, и двух женщин, занятых младенцем, в другом, — в вагоне кроме Пнина не было никого.

Раскроем теперь один секрет. Профессор Пнин по ошибке сел не в тот поезд. Этого не ведал ни он сам, ни кондуктор, который уже пробирался по составу к вагону Пнина. Более того, в эту минуту Пнин был очень доволен собой. Приглашая его выступить в пятницу вечером с лекцией в Кремоне — верст двести на запад от Вэйнделя, академического насеста Пнина с 1945 года, — вице-президентша кремонского дамского клуба мисс Джудит Клайд уведомила нашего приятеля, что самый удобный

* Приставного воротника.

поезд отходит из Вэйнделя в 1.52 пополудни и прибывает в Кремону в 4.17; однако Пнин (который, как и многие другие русские, хватал через край во всем, что касалось расписаний, карт, каталогов, коллекционировал их, набирал их без стеснения из одного только полезного удовольствия приобретения задарма, и исполнялся особенной гордостью, когда ему удавалось самому разобраться в расписании поездов) после некоторого изучения обнаружил неприметную на первый взгляд сноску против еще более удобного поезда (отб. из Вэйнделя в 2.19 дня, приб. в Кремону в 4.32); сноска эта указывала, что по пятницам, и только по пятницам, поезд два-девятнадцать останавливается в Кремоне по пути в отдаленный и куда более крупный город, тоже украшенный благозвучным итальянским именем. К несчастью для Пнина, его расписание было пятилетней давности и отчасти устарело.

Он преподавал русский язык в Вэйндельском университете, несколько провинциальном заведении, которое было замечательно своим искусственным озером в центре живописно распланированного кампуса; увитыми плющом галереями, связывавшими отдельные университетские корпуса; фресками, на которых можно было узнать тамошних профессоров, передающих светоч знания от Аристотеля, Шекспира и Пастера группе чудовищно сложенных деревенских парней и девок; и огромным, преуспевающим немецким факультетом, который д-р Гаген, его начальник, самодовольно называл (отчеканивая каждый слог) «университетом в университете».

В осеннем семестре того года (1950-го) в списках на курсах русского языка значились: одна студентка (пышнотелая и серьезная Бетти Блисс) в средней группе; один студент, Иван Дуб (пустой звук, ибо он так и не воплотился), в старшей; и трое в процветавшей начальной: Джозефина Малкин, предки которой были родом из Минска; Чарльз Макбет, сверхъестественная память которого уже одолела десять языков и готова была поглотить еще с десятков, и томная Айлина Лэйн, которой кто-то сказал, что, выучив однажды русский алфавит, можно в принципе читать «Анну Карамазову» в оригинале. В педагогическом отношении Пнин не мог соперничать с теми поразительными русскими дамами, рассеянными по всей академической Америке, которые, не имея никакого специального образования, умудряются, однако, при помощи интуиции, многословия и какого-то материнского подхода внушить группе ясноглазых студентов магическое знание своего трудного и прекрасного языка: тут тебе и песни о Волге-матушке, и красная икра, и чай. Еще менее мог Пнин как преподаватель дерзать приблизиться к высоким палатам новейшей ученой лингвистики, этому аскетическому братству фонем, этому храму, где усердных молодых людей обучают не собственно языку, но методике, по которой надо преподавать сию методику; метода же эта, словно водопад, плещущий с утеса на утес, перестает быть средством разумной навигации, но, может быть, в каком-нибудь баснословном будущем пригодится для усовершенствования эзотерических наречий, например прусско-этрусского, на которых будут изъясняться одни хитроум-

ные машины. Без сомнения, подход Пнина к своей работе был дилетантским и легкомысленным: он полагался на грамматические упражнения, изданные главою славянского отделения гораздо более крупного, чем Вэйндель, университета — маститым шарлатаном, русский язык которого был уморителен, но который тем не менее великодушно ссужал свое почтенное имя произведениям безымянных тружеников. Пнин, несмотря на множество своих недостатков, источал обезоруживающее, старомодное обаяние, которое д-р Гаген, верный его покровитель, отстаивал перед суровыми попечителями как изящный заграничный продукт, за который стоило платить отечественной монетой. Его ученая степень по социологии и политической экономии, которой он был торжественно удостоен в Пражском университете в 1925-м, кажется, году, к середине века лишилась применения, и однако нельзя сказать, чтобы он вовсе не подходил для роли преподавателя русского языка. Его любили не за какие-то его особенные качества, но более за его незабываемые отступления, когда он снимал очки, улыбаясь прошлому и одновременно протирая стекла настоящего. Ностальгические экскурсии на ломаном английском; забавные подробности автобиографии. Прибытие Пнина в Соединенные Штаты. «Проверка на корабле, — перед тем как сойти на берег. Вери вэль! „Везете какие-нибудь ценные вещи?“ — „Нет“. Вери вэль! Засим — политические вопросы. Он спрашивает: „Вы не анархист?“ — „Я отвечаю, — рассказчик тут делает паузу, чтобы предаться уютному немому веселью. — Во-первых: что мы понимаем под *анархизмом*? Анархизм —

какой? практический, метафизический, теоретический, мистический, абстрактный, индивидуальный, социальный? Когда я был молод, — говорю я ему, — все это имело для меня значение“. И у нас получилась очень интересная дискуссия, вследствие которой я провел целых две недели на Эллис Айленд*», — брюшко начинает колыхаться; вот и колыхается; и вот уже повествователь трясется от смеха.

Но случались и еще более смешные положения. Благодушный Пнин, с жеманной таинственностью подготавливая подростков к дивному удовольствию, которое сам он некогда испытал, и уже обнажая в неудержимой улыбке неполный, но внушительный строй пожелтевших зубов, раскрывал потрепанную русскую книгу на изящной закладке искусственной кожи, заботливо им туда вложенной; он раскрывал ее, и нередко при этом его подвижные черты искажались выражением крайнего недоумения; разинув рот, он лихорадочно пролистывал том направо и налево, и, бывало, проходили минуты, прежде чем он находил нужную страницу — или убеждался в том, что все-таки правильно заложил ее. Обыкновенно брался пассаж из старой, простецкой комедии купеческого быта, которую Островский смастерил на скорую руку лет сто тому назад, или из столь же древнего, но даже еще более устаревшего отрывка из плоского лесковского фарса, где все держится на искалеченных словах. Он препода-

* Въезд коммунистов и «анархистов» в Америку был воспрещен законом. Остров Эллис в нью-йоркской гавани предназначался для временного содержания эмигрантов, если медленный их въезд был по какой-нибудь причине затруднен.

сил этот лежалый товар скорее в сочной манере классической Александринки, нежели с отчетливой простотой Московского Художественного; но так как для того, чтобы оценить хоть то небольшое, что еще оставалось смешного в этих пассажах, нужно было обладать не только основательным знанием разговорного языка, но еще и немалым запасом литературных сведений, меж тем как его бедный маленький класс не обладал ни тем ни другим, то декламатор в одиночестве наслаждался тонкими ассоциациями что-то текста. Колыханье, уже отмеченное нами в другой связи, превращалось тут в настоящее землетрясение. В ярком свете рампы надевая на себя все маски, которые подсовывало ему воображение, направив память ко дням своей пылкой, восприимчивой юности (в сверкающем мире, который, казалось, припоминался еще ярче оттого, что был сметен одним ударом истории), Пнин пьянел от бродивших в нем вин, откуда извлекал из текста один за другим образчики того, что его слушатели учтиво принимали за русский юмор. Скоро он ослабевал от смеха; по его загорелым щекам стекали грушевидные слезы. Не только его ужасающие зубы, но и поразительно широкая полоса розовой верхней десны неожиданно выскакивали как чертик из табакерки, и рука его взлетала ко рту, а массивные плечи сотрясались и перекатывались. Он до того отдавался потехе собственного производства, что на студентов это действовало неотразимо, хотя его речь, придушенная пляшущей ладошкой, была им теперь непонятна вдвойне. К тому моменту, что он совершенно уже изнемогал, они

помирали со смеху, причем Чарльз, хохоча, отрывисто лаял, как заводной, невзрачную Джозефину неожиданно преображал ослепительно-прелестный поток смеха, тогда как очаровательная Айлина расплывалась в желе непривлекательного гогота.

Что, впрочем, не меняет того факта, что Пнин ехал не в том поезде.

Как бы нам объяснить это печальное происшествие? Пнин, это следует особенно подчеркнуть, ни в коем случае не походил на известный тип добродушной немецкой пошлости прошлого столетия, *der zerstreute Professor**. Напротив, он был, может быть, слишком осмотрителен, слишком остерегался каверзных подвохов, слишком болезненно опасался, как бы его странное окружение (непредсказуемая Америка) не втянуло его в какую-нибудь нелепую историю. Рассеян был не Пнин, а мир, и Пнину приходилось наводить в нем порядок. Его жизнь была постоянной борьбой с неодушевленными предметами, которые разваливались, или падали на него, или отказывались служить, или назло ему терялись, как только попадали в сферу его бытия. У него были на редкость неловкие руки; но поскольку он мгновенно мог изготовить однозвучную свистульку из горохового стручка, пустить плоский камушек так, чтобы он раз десять подскочил по глади пруда, изобразить, сложив пальцы, силуэт кролика на стене (притом с моргающим глазом) и проделать множество других домашних трюков, которые у русского человека всегда наготове, то он воображал, что наделен немалыми приклад-

* Рассеянный профессор.

ными и техническими способностями. Всякими приспособлениями он увлекался с каким-то ослепленным, суеверным восторгом. Электрические приборы приводили его в восхищенье. Изделия из пластической массы сводили его с ума. Он не мог надивиться на змеевидную застежку «зип». Но бывало и так, что благоговейно заштепеленные им электрические часы, после ночной грозы, парализовавшей местную электростанцию, превращали его утра в нелепую сумятицу. Оправа его очков могла лопнуть в переносице, и тогда он держал в руках обе половинки, пытаясь как-то соединить их, — надеясь, может быть, что они каким-то чудом срастутся сами собой. Порой, в отчаянную минуту жуткой спешки, застежку, от которой мужчина зависит более всего, заедало в его растерянной руке.

И он все еще не знал, что сел не в тот поезд.

Область особенно опасную для Пнина представлял английский язык. Не считая таких не очень полезных случайных словечек, как *the rest is silence*, *nevermore*, *weekend*, *who's who*^{*}, и нескольких общедневных слов вроде *еда*, *улица*, *самопишущее перо*, *гангстер*, *чарльстон*, *марджиналь ютилити*, он вовсе не владел английским, когда уезжал из Франции в Соединенные Штаты. Но он упрямо засел за изучение языка Фенимора Купера, Эдгара По, Эдисона и тридцати одного президента. В 1941-м, в конце первого года занятий, он был достаточно

* «Прочее — молчанье» (финал «Гамлета»); «больше никогда» (рефрен из «Ворона» По); конец недели; «Кто — Что», американский биографический справочник.

искушен, чтобы свободно пользоваться выражениями вроде *вишфуль финкинг* (принимать желаемое за действительное) и *оки-доки* (простонародное «ладно»). К 1942-му он был в состоянии прерывать свое повествование фразой «*Tu мэйк э лонг стори шорт*» (короче говоря). К началу второго срока президента Трумана Пнин практически мог справиться с любой темой; но, с другой стороны, продвижение вперед, казалось, приостановилось, несмотря на все его усилия, и к 1950 году его английский язык все еще был полон изъянов. В ту осень он пополнил свои русские курсы еженедельными лекциями в так называемом симпозиуме («Безкрылая Европа: обзор современной континентальной культуры»), которым руководил д-р Гаген. Все лекции нашего друга, включая разнообразные выступления в других городах, редактировал один из младших сотрудников немецкой кафедры. Процедура эта была многоступенчатая. Сначала профессор Пнин старательно переводил свой русский словесный поток, изобиловавший идиоматическими предложениями, на корявый английский. Молодой Миллер все это исправлял. Потом секретарша д-ра Гагена, мисс Айзенбор, переписывала все на ремингтоне. Потом Пнин вычеркивал места, которых не понимал. И только после этого он читал лекцию своей еженедельной аудитории. Он совершенно не мог обойтись без подготовленного текста; не мог он воспользоваться и известным приемом маскировать свой недостаток то подымая глаза, то опуская — выхватывая горсточку слов, забрасывая их в аудиторию и растягивая конец предложе-

ния, пока ныряешь за следующим. Нервный взгляд Пнина непременно сбился бы со следа. Поэтому он предпочитал читать свои лекции не отрывая глаз от текста, медленным, монотонным баритоном, напоминавшим восхождение по одной из тех нескончаемых лестниц, которыми пользуются те, кто остерегается ездить в лифтах.

Кондуктору — седовласому, отечески благодушному человеку в стальных очках, довольно низко сидевших на его простом, прямого назначения носу, с полоской грязного пластыря на большом пальце, — оставалось теперь пройти всего три вагона до последнего, в котором сидел Пнин.

Тем временем Пнин предался удовлетворенью особенной пнинской страсти. Он находился в пнинском затруднении. Среди прочих вещей, необходимых для пнинского ночлега в чужом городе, — башмачных колодок, яблок, словарей и так далее, — в его большом саквояже лежал относительно новый черный костюм, который он собирался надеть вечером на лекцию («Коммунисты ли русские люди?») перед дамами Кремоны. Там же лежала лекция для симпозиума на ближайший понедельник («Дон Кихот и Фауст»), которую он рассчитывал проштудировать завтра на обратном пути в Вэйндель, и сочинение аспирантки Бетти Блисс («Достоевский и Гештальт-психология»), которое он должен был прочитать вместо д-ра Гагена, главного руководителя ее умственной деятельности. Затруднение же состояло в следующем: если он будет держать кременский манускрипт — пачку машинописного формата страниц, аккуратно сложенную

пополам, — при себе, в безопасном тепле своего тела, то теоретически было вероятно, что он забудет переложить его из сюртука, который был на нем теперь, в тот, который на нем будет тогда. С другой стороны, если бы он поместил лекцию в карман того костюма, который был в чемодане *теперь*, то он знал, что стал бы терзаться мыслью, что багаж могут украсть. С третьей стороны (такие душевные состояния все время обстраиваются новыми сторонами), он вез во внутреннем кармане своего теперешнего сюртука драгоценный бумажник с двумя десятидолларовыми ассигнациями, газетной вырезкой письма, написанного им с моей помощью в «Нью-Йорк Таймс» в 1945 году по поводу ялтинской конференции, и своим удостоверением об американской натурализации; и в принципе можно было, вытаскивая если понадобится бумажник, фатально выронить при этом и сложенную лекцию. В продолжение двадцати минут, проведенных им в поезде, наш друг уже дважды раскрыл чемодан, перекладывая так и сяк свои разнообразные бумаги. Когда кондуктор дошел до его вагона, добросовестный Пнин пытался, несмотря на трудности, одолеть последнее произведение Бетти, которое начиналось так: «Когда мы рассматриваем духовный климат, в котором все мы живем, мы не можем не заметить...»

Тут вошел кондуктор; не стал будить солдата, пообещал женщинам дать знать, когда им выходить, и вот уже качал головой над билетом Пнина. Остановка в Кремонне была отменена два года тому назад.

Содержание

Предисловие переводчика	5
-------------------------------	---

ПНИН

Глава первая	17
Глава вторая	43
Глава третья	82
Глава четвертая	108
Глава пятая	141
Глава шестая	171
Глава седьмая	215
Разрешенный диссонанс. <i>Г. Барабтарло</i>	235
Примечания	306
Литература, упоминаемая в статье в сокращенных наименованиях	313
О переводчике	316

Набоков В.

Н 14 Пнин : роман / Владимир Набоков ; пер. с англ. Г. Барабтарло при участии В. Набоковой. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. — 320 с. — (Азбука Premium. Русская проза).

ISBN 978-5-389-13573-4

«Пнин» (1953–1955, опубли. 1957) — четвертый англоязычный роман Владимира Набокова, жизнеописание профессора-эмигранта из России Тимофея Павловича Пнина, преподающего в американском университете русский язык, но комическим образом не ладящего с английским, что вкупе с его забавной наружностью, рассеянностью и неловкостью в обращении с вещами превращает его в курьезную местную достопримечательность. Заглавный герой книги — незадачливый, чудаковатый, трогательно нелепый — своеобразный Дон Кихот университетского городка Вэйндель — постепенно раскрывается перед читателем как сложная, многогранная личность, в чьей судьбе соединились мгновения высшего счастья и моменты подлинного трагизма, чья жизнь, подобно любой человеческой жизни, образует причудливую смесь несказанного очарования и неизбывной грусти... Перевод романа, предисловие, примечания и обстоятельный заключительный очерк Геннадия Барабтарло в настоящем издании публикуются в значительно исправленной редакции.

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-44

Литературно-художественное издание

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

ПНИН

Художественный редактор Валерий Гореликов

Технический редактор Татьяна Раткевич

Компьютерная верстка Владимира Сергеева

Корректор Наталья Бобкова

Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 09.08.2017. Формат издания 84 × 108 ¹/₃₂.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 16,8. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®

119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».

170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.

www.pareto-print.ru



A-AUP-21757-01-R

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01,

факс: (495) 933-76-19

e-mail: sales@atticus-group.ru;

info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО

«Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55,

факс: (812) 327-01-60

e-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01

e-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru,

www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей
и творческого сотрудничества

размещена по адресу:

www.azbooka.ru/new_authors/